

еще сами не знаем, что верим. А надо знать, потому что, рано или поздно, народ спросит нас, во что мы верим, и от нашего ответа будет зависеть, с нами или не с нами народ.

Сейчас, на полях сражений, русская интеллигенция умирает за одно с народом, потому что любит с ним одно. Любит одно, а верит или думает, что верит, в разное. Пусть не думает, пусть не боится, что принятие веры народной есть отречение от того, от чего мы не можем и не должны отречься — от сознания, от совести. Ведь опять-таки на примере Белинского мы видели, что наша совесть вся насквозь религиозная, христианская. Нам нужно изменить наше сознание, не изменяя нашей совести. Но изменить сознание не значит отречься от себя, от своей интеллигентской сущности: ведь если мы будем верить с народом в то же, во что и раньше верили, но уже *не так*, — то и народ с нами будет верить в то же, но уже *не так*, как раньше верил. Мы многое возьмем от народа, но и народ должен взять от нас многое. Наше спасение в народе, но и его спасение в нас.

Когда мы это поймем, то перед лицом общего врага сможем сказать вместе с народом: да здравствует великая армия русского духа, да здравствует великая русская интеллигенция!



С. А. ВЕНГЕРОВ

<Единство литературной деятельности Белинского>

<Фрагменты>

I

<...>

Из крупных критических статей в 1-й том входят только «Литератур. мечтания». В примечаниях к ним мы по преимуществу занялись вопросом о влияниях, сказавшихся в знаменитой статье. На этот вопрос давались и до сих пор даются два ответа. По мнению одних, на «Литер. мечт.» и вообще на всей деятельности Белинского

в «Телескопе» и «Молве» лежит сильнейший отпечаток духовной личности редактора обоих изданий — Н. И. Надеждина. Другие видят в первом периоде деятельности Белинского по преимуществу следы влияния рано умершего даровитого юноши Станкевича. Мы решительно не согласны с первым взглядом. Нам соотношение Надеждина и Белинского представляется в таком виде: *лучшее* в «Литератур. мечт.», то, что сообщает им непреходящий интерес, ничего общего с Надеждиным не имеет. И только в *худшем* влияние Надеждина сказалось довольно заметно. Для подтверждения своего отрицательного отношения мы вводим в примечания этюд о Надеждине, имеющий целью показать, что установление сколько-нибудь тесной душевной связи между даровитым, но беспринципным редактором «Телескопа» и «неистовым Виссарионом» есть психологическая несообразность.

Но помимо приводимых нами доказательств мы считаем важным дать читателям нашего издания возможность составить себе самостоятельное суждение в столь важный для истории развития Белинского вопросе. Для этого мы воспроизводим в приложении несколько наиболее характерных для Надеждина статей, погребенных в составляющих большую библиографическую редкость «Вестнике Европы» 1828–1830 годов и «Телескопе» 1830-х годов.

Отрицая влияние (конечно, если говорить о влияниях *благодетельных*) Надеждина, мы, однако, очень настаиваем в своих примечаниях на том, что вообще-то на «Лит. мечтаниях» очень сильно сказались целый ряд других влияний. Мы старались подыскать ко всем сколько-нибудь важным местам статьи места параллельные из статей других представителей критической мысли двадцатых и тридцатых годов. И в результате оказалось, что бесспорную личную собственность Белинского составляет только одна блестящая характеристика Марлинского. Все остальное — часто вплоть до отдельных фраз и выражений — заимствовано... лучшее у Полевого, Станкевича, шеллингистов «Москов. вестника» и др., худшее у Надеждина.

Но в чем же тогда настоящий Белинский, в чем сила статьи, столь знаменитой?

На этот вопрос мы сейчас дадим ответ, который, подобно *Leitmotiv*'у вагнеровских опер, пройдет чрез все наши комментарии к Белинскому. Бесконечно преклоняясь пред духовною личностью великого идеалиста и считая его произведения одним из главнейших источников новой русской мысли, мы утверждаем, однако, что силу Белинского составляют по преимуществу качества его *сердца*, которое мы называем великим. Мы уже высказали этот свой взгляд в статьях о Белинском, так и озаглавленных «Великое сердце» («Рус. богатство», 1898 г.) и во вступительной лекции к курсу новой русской

литературы («Основные черты истории нов. русск. лит.» СПб., 1899) и нам остается здесь только повторить его. Вот как мы определяем там значение Белинского:

Да, именно в том великое значение Белинского, что у него было великое сердце. Огромно, конечно, и чисто умственное значение его литературного наследства. Разберитесь в своих представлениях о главных моментах русской литературы, и вам станет ясно, что источник их в разъяснениях, с такою удивительно яркостью и ясностью данных Белинским. Присмотритесь к тому пониманию истории русской литературы, которое теперь уже разошлось по всем учебникам, и вам опять станет ясно, что все это взято из статей Белинского о Пушкине, из его «Литературных мечтаний», из годовых обзоров его. Проследите, наконец, генетическую связь между литературным движением всех 50-ти лет, протекших после смерти Белинского, и мыслями, идеями и настроениями «неистового Виссариона» и вы увидите, что для Белинского еще не наступила история. У Белинского вы всегда найдете ответ на большинство самых животрепещущих вопросов современности, потому что отправные пункты путей, по которым шла разработка этих вопросов, намечены Белинским же совершенно определенно и ясно.

Словом, Белинский есть основа, первоисточник, краеугольный камень всей новой русской литературной мысли, живое воплощение всех тех новых начал, которые сделали русскую литературу важнейшим фактором нового направления русской гражданственности.

Но именно только воплощение. Никакое преклонение пред Белинским не должно затушевывать того факта, что мысли, которые он высказывал с таким огромным талантом и силою, были мыслями целого круга людей, его вдохновлявших. И этот факт не только потому не нужно затушевывать, что он есть правда, а еще и потому, что в нем решительно нет ничего такого, что бы умаляло значение Белинского. Ведь самые-то настоящие великие люди те, которые не сами по себе, а отражают великие эпохи. Второстепенно было бы значение Белинского, если бы он отражал одного Полевого, одного Станкевича, одного Боткина, одного Бакунина, одного Грановского, одного Герцена. Но если он одновременно, и притом по отношению к большинству из них с бесконечно большею силою и блеском, отражал и Полевого, и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановского, и Герцена, то это уже значит, что он является центральным пунктом знаменитейшей эпохи, выразителем самого замечательного момента русской культуры, давшей ту плеяду великих писателей, которая поставила Россию на один уровень с великими литературными держа-

вами человечества. Главная заслуга великого критика не в том, что он лично додумался до всех идей, им высказанных, а в том, что он провел их сквозь горнило сожигавшего его внутреннего пламени и сообщил им отпечаток своей идеально-прекрасной личности. Непреходящее влияние статей Белинского зиждется на том, что в них слышно биение сердца, бесспорно, самого благородного, когда-либо бывшего в русской груди, что в них сказалась никем другим не достигнутая высота настроения, сила и глубина чувства. Великий праведник литературы русской, рыцарь без страха и упрека, на светлой памяти которого нет ни единого самонаименованного пятнышка, был вместе с тем великим страстотерпцем новой русской мысли. Он глубоко выстрадал свои убеждения и в полном смысле слова писал лучшею кровью своего сердца.

Печать необыкновенно высокого духа Белинского лежит на каждой строчке, им написанной, и оттого так жгучи поныне эти старые журнальные статьи и рецензии, более полувека тому назад написанные и часто по поводам совершенно ничтожным. Мысли стараются и становятся банальными, что можно сказать про многие положения Белинского, превратившиеся в трюизмы. Но истинный пафос никогда не стареет и всегда сообщается читателю. И как верующий, заглядывающий в минуту поисков душевного утешения в псалтирь, находит в ней слова успокоения, хотя они сказаны совсем по иному поводу, так и сочинения Белинского, раскрытые в любом месте, дают источник великого наслаждения всякому, волнующемуся вопросами морали, назначения литературы и выяснения истинных задач человеческого существования. Безграничное воодушевление Белинского уносит и читателя его в горные вершины духа. Есть немногие избранники, при встрече с которыми всякий нравственно подтягивается и куда-то далеко-далеко прячет все мелкие помыслы. Заразительно ведь не только зло, но и добро. Белинский один из таких избранников. В этом было его значение в кружках превосходивших его знаниями приятелей его, в этом его значение и теперь. В его духовном присутствии отпадает все ничтожное и пошрое и всякий чувствует неодолимую потребность чем-нибудь приблизиться к его душевной чистоте и настроить себя в унисон с биением его великого сердца.

II

Лет 40–45 тому назад заглавие настоящей статьи показалось бы очень странным. Сказали бы, что оно ломится в открытую дверь. Конечно, деятельность Белинского, разрушителя литературного староверства и провозвестника новой русской литературно-

общественной мысли, едина на всем протяжении, — можно ли в этом сомневаться?

Я назвал цифру 40–45 потому, что столько приблизительно лет тому назад появились в «Вестнике Европы» (1868) воспоминания Тургенева о Белинском. В этом важнейшем источнике сведений о великом критике, — источнике, до сих пор являющемся первоклассным пособием для всякого занимающегося изучением Белинского, — общая окраска его литературно-критической деятельности охарактеризована так:

«Белинский, как известно, не был поклонником принципа искусство для искусства».

Ни в редакции журнала, ни в читающей публике это как известно не вызвало возражений. И только старый словесник и личный друг Белинского Галахов, познакомившийся с ним не в 40-х годах, как Тургенев, а в 30-х, протестовал против такой характеристики. Он написал Тургеневу письмо, которое и печатается теперь всегда вслед за тургеневскими воспоминаниями. Мягко, но настойчиво Галахов подчеркивает, что в первую половину своей литературной деятельности Белинский «признавал справедливость знаменитой формулы: цель искусства — само искусство».

Итак, только один старый личный знакомый протестовал. Воспоминания Тургенева в общем прошли всего менее незамеченными. О них говорили очень много в журналах, но говорили о разных других деталях, а вот такого крупнейшего недоразумения никто не заметил. Значит, оно нимало не шокировало, не шло вразрез с установившимися взглядами. И это после того, как собрание сочинений Белинского разошлось в нескольких изданиях. Публика или по крайней мере критики должны же были быть знакомы с первыми томами Белинского, где принцип «бесцельности» искусства выдвинут так определенно.

Я сейчас сказал «критики». Да, даже профессиональные критики были настолько мало знакомы с «другим» Белинским, что совершенно не замечали двух полос его литературной жизни. Так, Писарев в своих печально знаменитых статьях о Пушкине все старается показать, что поэзия Пушкина «обошла» своими эстетическими прельщениями Белинского, когда он писал свои большие статьи (1844 г.) о Пушкине. А между тем как просто было связать податливость эстетическим «соблазнам» с первым периодом деятельности Белинского.

Если вы вообще знакомитесь с тем, что писалось о Белинском до середины 70-х годов, вы поражаетесь почти полным игнорированием первой половины его деятельности. Белинский «Письма к Гоголю» неизгладимо засел в представлениях о великом критике, и вот даже

такой тонкий знаток нашей литературной жизни, как Тургенев, от этого отделаться не мог.

Со середины 70-х годов незнакомство с капитальнейшим фактом духовной жизни Белинского проходит и заменяется чем-то совершенно противоположным. Произошло это под влиянием книги Пыпина, которому посчастливилось найти драгоценнейший биографический материал — письма Белинского к друзьям. Письма вводили в мир несравненной душевной красоты и произвели прямо потрясающее впечатление. Все знали до того Белинского-критика, теперь же вырисовался такой лучезарный образ беззаветного искателя правды, который нельзя было не полюбить даже больше Белинского-писателя. С тех пор создается у некоторых исследователей мнение, что Белинский писем, свободно и непринужденно вылившийся в них во всей чистоте, во всем экстазе своего высокого духовного полета, едва ли не интереснее, чем в статьях, где его сковывала железными кольцами николаевская цензура. Поражал в письмах, обнародованных Пыпиным, драматизм выработки нового мирозерцания и мук, которых этот перелом Белинскому стоил. Ярче других осветил именно эту сторону Михайловский в замечательной статье своей «Белинский и Прудон».

С тех пор вошло в общее сознание, что есть два Белинских. Первый, — тридцатых годов и самого начала сороковых, — в своем нетерпеливом стремлении найти во что бы то ни стало положительный идеал дошел до прославления николаевской «действительности», проповедывал «чистое» искусство, отрицал всякую цель в истинном искусстве, гнал искусство тенденциозное. Второй Белинский, — сороковых годов, — под влиянием идей, шедших к нам из Франции, Луи-Блана, Фурье, Сен-Симона и Жорж Занд, с тою же строительностью возненавидел «гнусную расейскую действительность», с какою ее раньше превозносил, требовал, чтобы литература посвятила себя исключительно борьбе с «действительностью», гнал всякое «бесцельное» искусство, всякое произведение, в основе которого не лежали широкие общественные задачи. Словом, был тем критиком-общественником, каким он запечатлелся в памяти Тургенева.

Эти выявления двух Белинских становятся особенно энергичными в периоды юбилейные, когда приходится давать общие обзоры литературной деятельности великого критика. Припоминаю, например, юбилейную литературу 1898 года. Ни одна статья не обошлась без подчеркивания двух фазисов: прославления «действительности» и борьбы с нею. Было даже выражено опасение, что, став благодаря истечению 50 летнего срока общим достоянием и перейдя в разряд очень дешевых книг, сочинения Белинского в среднем, неподготовлен-

ном читателе могут вызвать великое недоумение. Зная, понаслышке Белинского как борца за идеи, которые он с такой несравненной силой высказал в письме к Гоголю, этот неподготовленный читатель вдруг наткнется на статейки вроде «Бородинской годовщины»! Как известно, на эти статейки с приятнейшим изумлением наткнулись в 1905–1906 годов южно-русские «монархисты» толмачевско-думбадзевского вероисповедания и издали их с соответствующими комментариями. Таким образом, Белинский оказался «истинно-русским человеком»!

Нашлись, впрочем, и охотники другого сорта, тоже соблазненные возможностью перечислить Белинского из одного стана в другой. Так, в юбилей 1898 года поэт Минский имел видение: ему являлся Белинский и с горечью говорил о «втором» периоде своей деятельности, когда он отрекся от чистого искусства. Тень «неистового Виссариона» уверяла поэта, что только первый период беспечального артистизма и дорог его душе. Очень похоже на правду!

К юбилею нынешнего года фазисы духовной жизни Белинского еще более умножились. Иванов-Разумник, редактор издания избранных статей Белинского, во вступительном этюде к этому прекрасному и, бесспорно, лучшему из сокращенных изданий сочинений великого критика земли русской, устанавливает еще один фазис: в последние два года своей жизни Белинский разочаровался в социализме, которым так безумно увлекался, и решительно стал примиряться с правительством, от которого ждал уничтожения крепостного права.

Здесь не место вступать в сколько-нибудь детальную полемику с почтенным исследователем. Мне представляется, что он чрезмерно увлекся в своем стремлении к классификации и систематизации. Нового фазиса тут нет. Ведь действительно был тогда момент, что можно было на что-то надеяться. Из истории крепостного права в России мы знаем, что Николай до 1848 года довольно искренно думал о смягчении крепостной тяготы. В 1846 и 1847 годах эти добрые намерения были особенно определены: как это ни странно звучит, но несомненно, что та страстная забота об униженных и оскорбленных, которая была выдвинута утопическим социализмом 1840-х годов и так захватила кружок, группировавшийся около Белинского, не миновала и круги, казалось, полярно ему противоположные. Есть идеи, как бы насквозь пронизывающие воздух эпохи и от которых до известного момента политического дифференцирования не спасают даже стены дворцов. Так было в 1855–1862 годах, так было отчасти в последние два года до февральской революции. Нельзя, конечно, без улыбки следить за тою серьезностью, с которой Белинский пишет

Анненкову: «Недавно государь император был в Александрийском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян». Но нельзя судить на расстоянии, все надо брать в исторической перспективе, да в особенности еще, когда речь идет о столь неисправимом и нетерпеливейшем мечтателе, как Белинский. Он весь тогда был во власти обаяния идеи личности, находил, что «для России теперь нужен новый Петр Великий». «Но Петра I, — говорит г. Иванов-Разумник, — не было, и Белинский готов был возложить свои надежды на Николая I...» Вот тут вся и разгадка, никакого, значит, нет ни «фазиса» нового, ни перелома. Не разочаровался Белинский в социализме, но, человек живого чувства добра, он готов был принять свободу народа и даже малейший намек на нее из чьих угодно рук.

Как бы там ни было, однако не сомневаюсь в том, что устанавливаемый г. Ивановым-Разумником третий фазис много заставит о себе говорить, и бедный средний читатель совсем растеряется. Целых три Белинских. Кто же настоящий?

Все настоящие. Прав был читатель 60-х годов, который ни о каких фазисах не был слышан и упивался просто «Белинским». И большую психологическую пронизательность выказали те педагоги-опричники времен графа Дмитрия Толстого, которые запрещали чтение Белинского вообще как писателя вредного вообще, вредного не содержанием писем, не отдельными мнениями, а чем то совсем иным, более общим и заражающим.

Мне уже приходилось в своих этюдах о Белинском высказываться по вопросу об единстве литературной деятельности его и доказывать, что несмотря на многочисленные противоречия, она однородна по тому основному впечатлению, которое остается в душе читателя. При этом я становился главным образом на точку зрения единства нравственной личности великого искателя правды. Даже противоречия себе Белинский не утрачивает того, что составляет, как мне представляется, сущность его значения.

Прибавлю теперь, что даже в грубейших ошибках временного примирения Белинский не теряет той ослепительной духовной красоты своей, которую охарактеризовал как «великое сердце» — эпитет, по-видимому, благосклонно принятый историей новейшей русской литературы. Именно «сердце», потому что, как мне представляется, не столько в самом содержании того, что нам дают сочинения Белинского и что уже давно вошло в общее сознание как мысли и оценки бесспорные и непререкаемые, лежит центр тяжести интереса, который может внушить нам Белинский теперь. Уже три или четыре литературных поколения воспитались на оценках

Белинского, вошедших во все учебники. Вот почему если нас, литературных внуков и правнуков Белинского, захватывает чтение его сочинений, то, право же, не в силу правильности его литературных взглядов, ставших общим местом даже для школьников. Увлекает исключительно сила беспримерного одушевления, которое не выветрилось и теперь, через 70 и 80 лет, и так же свежо, как и тогда, когда мысли Белинского были так новы, оригинальны и открывали неведомые, широкие горизонты. Тревожность искания истины и теперь неотразимо захватывает при чтении Белинского и вечно будет захватывать, потому что тут критик выходит далеко за пределы своей непосредственной задачи, становится сам творцом, становится, можно это прямо сказать без всякого преувеличения, настоящим поэтом, для которого разбираемое произведение — часто только предлог дать исход своему собственному настроению и выразить всю полноту влечущих в нем порывов. И, конечно, в этом искании, беспримерном, может быть, во всей всемирной литературе по страстности своей, и лежит то непреходящее обаяние Белинского, поколебать которое не в силах все его противоречие. Да и какое вообще значение может иметь улавливание противоречий в применении к таким натурам, как Белинский? Белинский никогда не противоречит себе на пространстве одной и той же статьи. В каждой данной статье он покоряет читателя не только пафосом, но и силою логики. Он противоречит себе только на расстоянии времени, и это в нем так органично, что иначе даже и быть не может. Мог ли бы Белинский когда-либо успокоиться на лоне какой бы ни было «истины», мог ли бы он когда-либо почесть себя насыщенным ею? Вот уже к кому всецело применимо то, что уже давно сказал тоже один из великих искателей истины — Лессинг: если бы Господь Бог предложил людям на выбор либо самую истину, либо стремление к ней, Лессинг выбрал бы последнее. Для людей вроде Лессинга и Белинского жизнь без горестных и сладких в одно и то же время мук искания стала бы чем то очень скучным и томительным.

Ибо сущность таких натур — в динамике, а не в статике. Нельзя себе представить Белинского на чем бы то ни было успокоившимся. Да и искал-то он собственно не «истину», которую невольно представляешь себе сухой и неприступно-величавой, а *правду*, живую и близкую нам даже тогда, когда она не совпадает с формальной, безукоризненно-корректной истиной, И эту-то живую правду больше всего и воспринял непредуведомленный исследователями о «фазисах» Белинского читатель 60-х годов. И был для него Белинский понятием вполне однородным. Конечно, более внимательному читателю бросалось в глаза различие путей, по которым в разных статьях шел Белинский, различие оснований, из которых исходил он, но чув-

ствовалось так ярко и определенно, что все эти хотя и разные пути ведут к одной и той же цели, к одному и тому же нравственному знаменателю. И потому даже для такого внимательного читателя все противоречия Белинского ни на одну йоту не ослабляли главного впечатления.

Итак, не может быть речи о двух или трех Белинских как о явлении нравственном. Но не может быть двух или трех Белинских, если взглянуть на деятельность нашего великого критика и более хладнокровно, если смотреть на него не только как на глашатая правды, а как на ценителя литературных произведений.

Я сказал: не *может быть* двух или трех Белинских-критиков, и думаю, что это вытекает из самого существа понятия о критике. Допустим, что теоретическое, философское, религиозное, эстетическое мировоззрение Белинского прошло через два или три фазиса, даже диаметрально противоположных друг другу. Допустим, что под влиянием этого взгляды Белинского на искусство, на его задачи и цели не имеют ничего общего между собой в первом и втором периоде его деятельности. Но все же, раз речь идет о критике столь гениальной *эстетической* пронизательности, как Белинский, то разные полосы его теоретических воззрений могут выразиться только в обосновании его литературных приговоров, но никак не по существу. В часто происходящих теперь спорах о том, какой должна быть критика — субъективной или «научной», — мне всегда непонятно, как можно допускать мысль, что критика, основанная на таком вполне *прирожденном* свойстве, как вкус и чутье, может не быть субъективной. Так же, как истинные *rotae nascuntur*, и критики Божьей милостью *nascuntur*, а не *fiunt*. Можно приобрести весьма обширные познания и в теориях эстетики, и в истории литературы, но это ровно ни к чему не приведет, если у счастливого обладателя обширных знаний нет *прирожденного* умения безотчетно, непосредственно разбираться в литературных явлениях. Я не буду забираться в историю западноевропейских литератур и, раз тут же шла речь о Лессинге, назову только мимоходом того знаменитого противника его, которого он так блистательно изничтожил. С высоты своих «знаний» Готшеды всегда убеждены, что они держат скипетр истинно-«научной» критики, и тем не менее они сплошь да рядом переходят в потомство с кличкой жалких педантов. Лессинги их побеждают не потому, то у них больше знаний, не потому, что они «научнее» отнеслись к своей задаче, а потому, что у них была искра Божья и *живое* понимание красоты. И у нас, чтобы оставаться в пределах эпохи Белинского, был удивительно яркий пример того, до чего бесплодна всякая «научная» критика, построенная не на фундаменте *прирожденного* критического

чутья. Я говорю о главном противнике Белинского Шевыреве. Этот человек имел много внешних данных, чтобы побить своего противника, к которому относился с высоты своих действительно больших знаний, как к «недоучившемуся студенту». И если взять область, где можно достигнуть солидных результатов одними знаниями — историю литературы, — то тут заслуги Шевырева значительны, тут он много и плодотворно работал. Но в сфере новейшей литературы, в области критики современных произведений и направлений, где надо было самому расценивать без указки, он оказался совершенно несостоятельным. И «недоучившийся студент» наклеил на него этикетку «педант», и с этой этикеткой Шевырев стоит поныне в литературной кунсткамере «монстров и раритетов», да и память о нем в литературе главным образом держится на полемических выходках против него Белинского. Шевырева не спасла ученость, а Белинского на царственное место вершителя репутаций титанической эпохи нашей литературы поставило его гениальное эстетическое, критическое чутье.

Но может ли чутье претерпевать изменения, может ли тут иметь место какая бы то ни было «эволюция»? Эволюционируют мнения и миросозерцания, все то, что идет у человека от «ума». Но, по самой природе своей, не подлежит никаким эволюциям и фазисам то, что идет от «сердца». И потому ни два, ни три фазиса теоретического миросозерцания нимало не отразились на том, что составляет главную силу Белинского как критика: на эстетическом прозрении его. Оно всегда было одно и то же. Тут у него колебаний не было.

Я ничуть не намерен утверждать, что у Белинского не было эстетических ошибок, иной раз даже грубых, непостижимо грубых. В примечаниях к своему изданию Белинского я с восторгом слежу за многочисленными проявлениями удивительного эстетического чутья Белинского. Сколько крупных литературных деятелей распознал он по первым шагам их, сколько репутаций безошибочно предсказал по первым, еле выступающим очертаниям. Но пришлось констатировать два, три раза и ошеломляющие промахи, которым место разве в критическом формуляре какого-нибудь Шевырева. Поверит ли читатель, знающий, что оценка Лермонтова принадлежит к числу самых замечательных критических подвигов Белинского, если ему сказать, что в одной мелкой рецензии (она до моего издания не перепечатывалась и потому мало известна) тот же гениальный прозорливец Белинский советовал Лермонтову выбросить из собрания своих стихотворений «Узника», «Ангела», «На севере диком»? Но тут можно говорить только о моменте эстетического затмения, вне связи с какими бы то ни было фазисами.

В общем *вкус* Белинского не менялся. Главными любимцами за все 14 лет его деятельности остаются одни и те же лица как из числа старых, так и из числа новых писателей. Неизменным глашатаем их славы Белинский является на всем пространстве своих сочинений, от 1-го до 12-го тома. Прекрасно сказал когда-то Аполлон Григорьев:

«Имя Белинского как плющ обросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени, — Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, — сплелось с ними так, что, говоря о них как об источниках современного литературного движения, постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем» (Соч., I, 238).

Но одними ли этими именами ограничивается число тех писателей, около которых плющом обвилась яркая и сочная критика Белинского?

Вот Аполлон Григорьев, хотя был большим поклонником Достоевского, постеснялся, однако, назвать его в числе «великих и славных имен», с которыми тесно связан комментарий Белинского. Во времена Григорьева, да и гораздо позже, даже самые пламенные почитатели Достоевского не решались идти в его определении дальше «большого таланта». Это мы только теперь, не больше как лет с двадцать, уразумели, наконец, что Достоевский принадлежит к величайшим гениям русской литературы, а то, пожалуй, и всемирной, что он Шекспиру равен. А вот Белинский ни на одну минуту не остановился перед тем, чтобы назвать только что дебютировавшего автора «Бедных людей» писателем «гениальным». Если хотите, это было увлечение. Нам, знающим позднейшего Достоевского, «Бедные люди» не кажутся гениальными. Но слава прозорливцу, и по первым взлетам узнавшему орла.

Не постеснялся также Белинский по первому анонимному стихотворению в «Одесском альманахе» приравнять юного Майкова по изяществу стиха к Пушкину!

А чье создание слава Кольцова, не снисходительное похлопывание по плечу литературного милостивца Жуковского, а сопричисление к первоклассным явлениям русской литературы? Кто приветствовал Гончарова, Некрасова, Григоровича, «натуральную школу» в ее целом и т. д., и т. д.?

И пока живы все эти славные имена, с ними неразрывно связана и память об их великом истолкователе, который им так облегчил доступ в сердце читателя. Чем, как, доводами какого «фазиса», — не все ли равно в конце концов? Важно то, что подействовал, убедил, распропагандировал. И, конечно, в этой своей огромной убедительности Белинский есть явление целостное и неразделимое по отдельным «периодам» и «фазисам». Все спаяно в одно органи-

ческое высокое целое и силою страсти небывалой и праведностью нравственного устремления, и тончайшей восприимчивостью к художественной красоте.



В. В. РОЗАНОВ

Мимолетное. 1914 год

<Фрагменты>

<...>

17.VI.1914

Неужели эта тусклая и бессильная борьба с кабаком, как у Страхова, есть судьба и моя? ¹

Однако со времен «избиваемых библейских пророков» не было еще ни в одной стране и ни у какого народа такого ряда, как у нас, «избитых людей, любивших эту самую страну и народ». Ничто подобное не вообразимо ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии или Италии, ни в Голландии или Дании. Катков — его имя даже не упоминается нигде. Не то чтобы его опровергать, но «не стоит и вспомнить». Он до такой степени не есть «борец» и «сила», что его даже не толкают плечом. Просто «переезжают», как через труп, который никогда не был живым человеком. Что такое Ив. и Кон. Аксаковы? Забыты, — и я не помню случая, чтобы кто-нибудь вспомнил. Страхов, Ап. Григорьев. «Разве они были когда-нибудь?» Делаются все усилия «вынуть из забвения» Конст. Леонтьева: но как они трудны...

Что же это такое? «Никто же *плоть свою возненавиде*, но всякий питает и греет ю (ее)»... И Христос, значит, не предвидел, и вся натура ошиблась. «Пришли русские и показали себя».

С чего же, с кого началось это избивание? Действительно, это чохоточный умирающий Белинский взял в горсть отхарканный плевок крови — и бросил его в Россию. И крови этой ничем не смыть, и она размазалась по всей России, и с этого именно времени русские ненавидят Россию.